

Да, вот здесь, на этом самом месте, на углу бывшей школы, мы с отцом чуть не столкнулись с моей учительницей русского языка и литературы. Не знаю, разглядела ли она в серых предутренних сумерках одного из самых прилежных своих учеников. Вряд ли – посмотрела она тогда на нас странными, даже испуганными глазами.

Видок у нас и впрямь был не очень-то внушающий доверие одинокой женщине, пробирающейся тёмной улицей на работу. Грубые потёртые ватники, сапоги до колен, торчащий из рюкзака коловорот, связки лесных лыж... Родители отпросили тогда меня на один день из школы ради рыбалки.

Бывает, совсем незначительная, вроде бы, встреча, подробность жизни западёт в память, как не-приметная цепкая семечка, и ждёт терпеливо, чтобы через многие годы вдруг прорасти соцветьем воспоминаний...

Мне было тогда одиннадцать. Больше четверти века прошло. Но тот мальчик, который чувствовал себя счастливым от того, что его взяли на рыбалку, и гордился резиновыми сапогами до колена, оказывается, никуда не делся – вот он, на несколько мгновений встрепенулся во мне.

Мы с отцом спускались с вершины крутой сопки, где был тогда наш дом.

Шли по спящему ещё городу к вокзалу. Всё почти как сейчас.

Город в предутренних сумерках кажется почти не изменившимся. Всё те же знакомые с детства очертания зданий обступают нас. Разве что незримо потяжелели они, осели в землю под тяжестью прошедших лет. А в морозном воздухе, как и тогда, неуловимо веет свежестью близкой весны. И так же загадочны мурманские фонари, дрожащими нимбами раздвигающие вокруг себя сиреневую мглу. И на дорогах в этот ранний час почти нет машин. И можно идти прямо по пустынным руслам главных городских улиц. И так же, как и тогда, радостно и тревожно покрикивают откуда-то из дворовых закоулков вечно бессонные чайки, и закрывают уставшие за ночь глаза неяркие весенние звёзды...

Вот только людей, что досматривают сейчас последние сны в окружающих нас домах, теперь, наверное, поменьше. Да и стали они иными.

Жива ли та самая учительница, что задолго до начала уроков пробиралась зачем-то в школу? Зачем, кстати? Наверно, хотела получше подготовиться к уроку или проверить тетрадки с очередным

диктантом, на которые не нашлось времени и сил накануне вечером. Пришли ли ей на смену учителя, готовые вот так вставать в темноте, чтобы добросовестно выполнить свою работу?

Не помню уже, как звали ту учительницу, – в этой школе я проучился меньше года. Но помню, как, рассердившись на что-то, кажется, на разбитную шутку классного остряка, она буквально зашипела на нас: «Сыты, обуты, одеты – чего ещё надо?! Радуйтесь жизни, учитесь, слушайте взрослых».

Видимо, чувствовала она в нас ростки чего-то враждебного ей, что, спустя всего пять лет, опрокинет привычный для неё, но уже надломившийся мир, где много трудиться – благо, скромность – достоинство.

А ещё запомнился восторг, когда, открыв тетрадку с проверенным ей сочинением, увидел там две красавицы-пятёрки. Через чёрточку. За содержание и грамотность. Получить такие оценки у этой учительницы было очень непросто. Сочинение было на извечную тему: кем хочешь стать. Я мечтал тогда о профессии лётчика-испытателя, о «головокружительных выражах» и «бескрайней синеве» неба. И мне казалось, что эти «пятёрки» были как приглашение в ту самую головокружительную судьбу, о которой мечтал. Оторвавшись от тетрадки, я восторженно посмотрел на учительницу. Наши взгляды встретились. Но она, побоявшись сорвать со своего лица намертво приставшую к нему плёнку строгости, тут же отвернулась.

Лётчика из меня не вышло – ещё в юности врач заказал мечтать об этой профессии из-за моего хронического отита.

Интересно, а хоть кто-то из ребят освоил профессию, о которой писал в тех сочинениях?

Да и много ли из них осталось жить в родном городе?

Сам я уже полтора десятка лет бываю в Мурманске лишь наездами. И когда доводится проходить мимо здания этой бывшей школы, где-то в душе нет-нет да мелькнёт сожаление, что не приходят сюда больше шумливые школьники, ровесники того меня, который учился здесь. Школу давно уже переделали в колледж. Наверно, из-за того, что меньше стало в городе детей...

Да, многое внешне кажется таким же, как и четверть века назад. Даже рюкзак на мне очень похож на те, что шили тогда. Такой же неброский, потёртый, но ещё крепкий. И так же торчит из него коловорот. Вот только рюкзак и коловорот уже не отцовские. Да и сам отец сейчас досматривает предупредительные сны за две почти тысячи километров отсюда, в тверском городке.

А рядом со мной давний отцов друг Михаил Александрович. Это он навязал мне свой рюкзак, вместо моего, современно-щеголеватого, но менее вместительного. «Рыбу складывать некуда будет», – в полушутку сказал он, заставив спешно перекаладывать уложенные с вечера вещи.

Да ещё в Москве я догадывался, что особой романтики в нашем походе не будет.

– Для меня рыбалка – это промысел, – обозначил по телефону «формат» нашего предприятия мой старший товарищ.

И всё же я согласился пойти с ним. И совсем не только потому, что больше мне в Мурманске идти в зимнюю тундру было не с кем.

\* \* \*

Мы подходим к тёмному, почти безлюдному вокзалу. Его звёздный шпиль смутно проступает сквозь сумрак. Огибаем это молчаливо-отрешённое сейчас здание, идём между облупленных вокзальных колонн, выбираемся на мост над железнодорожными путями. С него хорошо видно северную часть города: зияющий чернотой залив, полусогнутые шеи портовых кранов, одинокие суда у причалов, скученные портовые сооружения. За ними – приземистые скобы сталинских домов, а выше, на склоне могучей сопки, панельные шеренги многоэтажек. И над всем этим – бессонный маяк мужества, памятник заполярному Воину Алёше в золотисто-оранжевом сиянии.

Я опускаю глаза вниз, смотрю на немой перрон под нами. Отсюда я пустился в главное странствие в своей жизни, из которого не вернулся до сих пор. Двадцатилетним молодым человеком, полным надежд, тревог и гордости, что удалось поступить в Литературный институт, я уезжал в Москву.

Да, на этом вот безлюдном, даже нелюдимом сейчас перроне стояли тогда мои молчаливые, растерянно улыбавшиеся родители. В их лицах отражался пронзительный свет ранней осени. Друзья скрывали за грубоватыми порой шутками волнение разлуки, переполнявшее наши молодые души. Во мне звенели, искрились, как тугие алые гроздья на мурманских улицах, строки песни, на которую я наткнулся на волне какой-то радиостанции перед самым выходом из дома: «Вей-бей, проруха-судьба,

разбуди слов рябиновый слог...» Это была одна из моих любимых песен, и в том, что именно её довелось услышать в родительском доме напоследок, в том, что так подходила она этому щемяще-просветлённому дню, я видел знак не случайности и важности всего, что происходило со мной в эти минуты. Я тогда как-то мало вдумывался в прямой смысл этих неумолчно звучащих во мне слов...

Когда поезд тронулся, двое, Денис и Вадим, побежали вслед, нарочито кривляясь. А Вадим даже умудрился зацепиться за что-то с той стороны вагона, и его весёлая гримаса маячила несколько мгновений в мутноватом подрагивающем стекле. Где сейчас это всё?! Неужели только в моей памяти и остался жить тот день?

Помнит ли о нём Вадим, который два года спустя поехал вслед за мной в Москву, но не смог поступить в художественное училище, да так и полубомжует в столице, зарабатывая тем, что рисует портреты на Старом Арбате? И вроде бы есть возможность иногда встречаться, но мы оба понимаем, что после того, что случилось между нами за прошедшие годы, лучше не делать этого...

– Вот наш транспорт, – говорит Михаил Александрович, – показывая на угольно чернеющий локомотив с единственным прицепным вагоном. Ни единого признака жизни не видно пока в этом одиноко замершем на втором пути странном поезде. Ещё за месяц до этой моей поездки, когда мы по телефону договаривались о рыбалке, Михаил Александрович сказал, что поедем на какой-то электричке, развозящей по глухим полустанкам железнодорожных рабочих. Я, привыкший в последние годы с помощью расписаний в Интернете выверять, порой поминутно, свои маршруты, долго сомневался. Всё искал, нет ли каких иных, более надёжных, способов добраться до маленькой станции Пулозеро. Однако ничего толком так и не разузнал и махнул рукой, решив довериться своему спутнику, как доверялся когда-то на рыбалке отцу и как доверяются, наверно, теперь мне мои сыновья.

Мы спускаемся на перрон, сваливаем с себя громоздкие рюкзаки. В вагоне уже открыта дверь, еле заметно светится окно, напротив купе проводников. Михаил Александрович идёт туда договариваться. А честнее говоря – проситься. Вообще-то посторонних в этом вагоне быть не должно. Кто знает, какое там настроение будет у хозяек этого одинокого вагона и захотят ли они слегка рискнуть ради нескольких сторублёвок.

\* \* \*

Вскоре мы проходим в тёплый тёмный вагон с сидячими местами. Садимся на самые дальние кресла перед тамбуром – тут побольше места для нашей поклажи.

Вагон наполняют рабочие. Между сиденьями мелькают их оранжевые робы. Неторопливо рассаживаются, бросают короткие взгляды на нас. Некоторые шумно здороваются друг с другом, чему-то смеются, обмениваются незамысловатыми новостями. Я с интересом и даже какой-то невольной завистью смотрю на них. Эти люди спокойны, чувствуют себя на своём месте среди своих. И наверно, они уверены, что никто другой не сделает лучше их нужную людям работу. Я думаю о том, как редко встречал людей с таким самоощущением в тех редакциях и офисах, где мне приходилось работать...

Поезд нехотя, словно спросонья трогается. Как в замедленном серо-белом кино, проплывают за мутным окном портовые постройки. От многих из них веет неуютом заброшенности.

– Не понимаю, за счёт чего город живёт. Никакого производства нет. В порт суда с рыбой почти не заходят, на рейде – пустота, – это Михаил Александрович, глядя, как и я, за окно, продолжает разговор, начатый вчера вечером. – Здания в порту, смотри вон, через одно продаются, с повыбитыми стёклами стоят. Заводы закрываются... И за что только люди деньги получают?

– В Москве в каждом втором магазине печенье трески мурманская продаётся. Угля через порт всё больше перебрасывают, – мне не хочется спорить, но я делаю это, лишь бы не поддаваться пессимизму, который веет от его слов. – Ну, а деньги... Сейчас каждый, как может, устраивается. Один мой одноклассник – в рекламе, ещё один – риелтором вкальвует. Третий – на таможне. И что тут плохого?

– Вот я и говорю, молодёжь в службу подалась, а производство глохнет, – упрямо ворчит Михаил Александрович.

Я больше не спорю с ним. Знаю по вчерашнему разговору, что контору, где он работает, могут закрыть. Вроде как с помощью спутников следить за ходом промысла в Баренцевом море можно и из Москвы. Здесь, на родине, я порой чувствую неловкость за то, что живу в столице, которая «всё под себя гребёт».

Ехать нам всего километров семьдесят, но из-за частых долгих остановок, как объяснил мне мой товарищ, на месте будем часа через три, не раньше. Поэтому я настраиваюсь подремать: позади – полубессонная ночь, а впереди двое суток на ветру и морозе с ночёвками в неизвестной мне рыбацкой избушке.

– Смотри, красота какая, простор! Где в своей Москве ты такое увидишь?! – полчаса спустя толкает меня Михаил Александрович, вырывая из полусна. Поезд уже проехал мост через бурлииво-снежную Колу, за окном тянутся безлюдные сопки.

«Да, красота», – соглашаюсь я, хотя в сероватом утреннем свете хмурые северные пейзажи не так уж живописны. Увязшие вкривь и вкось сосенки и ели, взъерошенные карликовые берёзы сиротливо торчат из сугробов.

Впрочем, настоящая красота природы, я уверен, это далеко не только те эффектные, зачастую однотипные пейзажные картинки, какими любят щегольнуть полупрофессиональные фотографы в Интернете. По-настоящему красива только та природа, которая, как образ родного человека, с детства отпечаталась в нашей душе.

\* \* \*

– Милые мои, вот вам, вот, – проводница кидает куски хлеба с маслом нетерпеливо приплясывающим у подножки вагона собакам. Пса, с оторванной наполовину лапой, она прикармливает особо.

Поезд стоит рядом с приземистым жёлтым зданием. Кажется, оно единственное здесь содержит в относительном порядке. В него по каким-то своим надобностям заходят ехавшие с нами рабочие. За этим зданием видны остовы домов, покосившиеся сараи.

Вот она и есть та самая станция Пулозеро, которую пытался я представить в Москве несколько последних недель, выискивая фотографии в Интернете. Но, конечно, никакой Интернет не покажет, не передаст солоноватый запах мазута, искрящиеся вдоль железной дороги сугробы, этих вот твякающих, виляющих хвостами собак. И ещё – порывы морозного живительного ветра, который, кажется, рождается прямо в ослепительно белеющих вдали горах.

– Хороший посёлок раньше был, человек пятьсот жило, – говорит Михаил Александрович, – и станция всегда открыта. Заходи после рыбалки: грейся, чай пей. А сейчас – сиди на ветру, дожидайся поезда. Жителей здесь всего шесть человек осталось.

Впрочем, сейчас он не расположен к пространным монологам. Чтобы цель «оправдать рыбалку» (то есть чтобы примерная стоимость наловленной рыбы превзошла расходы на дорогу, водку и еду) была достигнута, надо «шевелиться». Словечко, которое любит отец и которое я слышу сейчас от его товарища. Логика проста: чем быстрее придём на озеро и чем больше насверлим лунок, тем больше налимов будет лежать в рюкзаках на обратном пути.

Михаил Александрович кладёт на землю пластмассовые волокуши, крепит на них верёвками свою поклажу. Я, глядя на него, проделываю, как могу, то же самое со своим грузом. Мы становимся на лыжи, накидываем на себя верёвочные петли.

– Эх, дубинушка, ухнем, – шутливо восклицаю я, делая первый замах лыжными палками.

На самом деле волокуши сильно облегчают дорогу. Они игриво скользят сзади, то и дело норовя наехать на задки лыж. Мы идём к озеру по проторенному снегоходом пути. Начинаясь невзрачно день выпустил на волю мириады золотых искр. Они танцуют по нетронутой белизне снегов, путаются в чистой весёлой хвое невысоких сосен и ёлочек. Кажется, что деревца эти, залитые солнцем, светятся изнутри.

Радуюсь чистому морозному снегу, хрустко поют лыжи, и в душе моей нарастает, переполняя её, ликующий мотив.

Не раз уже бывало, что, захваченный полумеханическим, изматывающим вращением жизни в мегаполисе, я начинал сомневаться в том, что есть ещё на свете бесхитростная сурово-хрупкая природа, воспитавшая мою душу.

Рядом с рёвом столичных шоссе порой кажется, что на планете не осталось места для такой вот одухотворённой тишины, что окружает нас.

И потому в последние годы, возвращаясь на родину, я каждый раз невольно радуюсь и благодарю Творца за то, что знакомые с детства северные пейзажи не превратились для меня в потерянный рай,

что я могу видеть их наяву и могу запросто трогать игольчатую лапу живописно искривлённой со-сенки или морщинистый бок валуна.

– Эх, повезло с погодкой, – подмигиваю я Михаилу Александровичу, – люблю, чтобы – мороз и солнце.

– Погоди, будет тебе везение, – в тон мне шутливо отвечает попутчик, – уже градусов двадцать мороза есть. Под вечер все тридцать будет. Только знай, дрова в печку закидывай. Так и будем: полночи – я, полночи – ты.

– Да ну, какие там двадцать градусов, десяточка, не больше, – не унимаюсь я.

– Конечно, идёт в дублёнке на лыжах, волокушу тянет, мороз ему не страшен. Поглядим на тебя, что ты у лунок на ветру скажешь...

Так вот всегда они с отцом безобидно подначивали друг друга во время своих лесных походов. Теперь как-то незаметно та же манера общения установилась и между нами.

Минут через сорок пути мы подходим к распахнутой на многие километры снежной пустыне Колозера. Ветер тут и там испещрил затвердевший наст причудливыми узорами, от которых веет чем-то перевозданно диким, безлюдным.

– У тебя пятнадцать минут на лирику, можешь сходить вон туда, пофотографировать, – показыва-ет Михаил Александрович на густо синеющую невдалеке полосу воды.

Я охотно отправляюсь туда, где берёт своё начало главная река Кольского края. По сей день, уви-дев из окна вагона кипучую Колу, я окончательно понимаю, что вернулся на родину. Много воды было выпито из этой красивой могучей реки, но никогда ещё не доводилось мне бывать на месте её зарождения.

Кола начинается не с зыбких, медленно свивающихся в водное полотно ручейков, как это обычно бывает в средней полосе. Она вытекает из озера состоявшейся рекой. И хотя здесь она только начинает свой неукротимый разбег к Баренцеву морю, течёт плавно, ещё не стряхнув с себя озёрную задумчи-вость, есть уже в ней сила, совладать с которой не может даже двадцатиградусный мороз. Лёд лишь кое-где у берегов сероватой, усыпанной снежными горошинами плёнкой затягивает исток Колы.

Макушки выглядывающих из воды валунов искрятся снежными нимбами. Над медленно завива-ющимися струями поднимается тончайший пар. Я смотрю, как морозные лучи, словно неуловимые рыбы, сверкают между подводных коричневатых камней, и мне почему-то чудится, что из воды улыбается близкая заполярная весна.

\* \* \*

Сверкает, кружится ледяное крошево, маленькие стальные зубы ледоруба с хрипом и шелестом прогрызают круглую дорогу к воде. И порой уже кажется, что само озеро кружится вокруг тебя. Жар распирает грудь, сдавливает дыхание, ударяет в лицо. Лунке на третьей я, забыв про мороз, сбрасы-ваю с себя старую добротную дублёнку.

Просверлить в полутораметровой ледяной толще надо десятки лунок. Трудная это работа. Труд-нее всего, когда, встав на колени, дёргаешь ручку ледоруба, которая одна только и не ушла в лёд. Кажется, из последних сил рывками вращаешь своё орудие, и, когда уже совсем невмочь, вдруг по-следняя ледяная перемычка проваливается под твоим нажимом. И мгновенно пробуренная пустота во льду заполняется чёрной ртутью озёрной воды вперемешку со снежной кашей.

И вот есть несколько минут отдыха. Пока товарищ бурит другую лунку, достаёшь из рюкзака незамысловатую донку, какой ловили, наверно, и сто лет назад, насаживаешь на грубый большой крючок мойву. Потом вычерпываешь из чёрного глазка во льду мокрый снег. Черпаком или просто покрасневшими на морозе руками. И тогда уже разматываешь, понемногу стравливаешь в воду снасть.

– Ну что, москвич, лунку сорок осилим с тобой? – слышится голос Михаила Александровича.

– Осилим, был бы толк, – из последних сил пытаюсь придать шутливость своему голосу, отвечаю я.

– Ничего, вот увидишь, мы ещё бурить не закончим, а уже пара-тройка налимов попадётся. Без ухи сегодня не останемся. Давай-ка вон там луночку просверли, поближе к острову.

Я послушно берусь за ледоруб и сам себе удивляюсь, откуда берутся силы снова перемальвать ледяной панцирь озера.

Впрочем, запал моего старшего товарища иссякает где-то лунке на тридцатой. Бурить сегодня осо-



бенно трудно, потому что нижний слой льда, видимо из-за стоявших в середине зимы оттепелей, перемешан с водой. И острые зубы-ножи ледоруба то и дело проскальзывают вхолостую в этом месиве.

Мороз всё сильней. На наших лицах, одежде хлопьями повисает иней. Разгоряченность от работы ледорубом быстро проходит, оставляя сырой зябкий неуют липнувшей к телу рубахи. А от оранжевого, склонившегося к сопкам солнца, кажется, ещё холодней.

– Пошли на берег, в избушку, – говорит Михаил Александрович. – Темнеть начнёт часа через два, а насчёт дров – ещё неизвестно, есть ли там какой запас.

По дороге на берег мы со знакомым всякому рыбаку нетерпением проверяем наши донки в надежде почувствовать на том конце снасти рыбки заглотившего наживку налима. Погода для его клёва стоит самая подходящая, морозная. Однако кто их предугадает, рыбы капризы... Некоторые лунки, как полузакрытые глаза, уже подёрнулись тонкой плёнкой льда и слегка присыпаны позёмкой. На первых донках, тех, что ставили последними, ничего не попало. Мне вспоминается рассказ отца, как однажды они просверлили на этом озере восемьдесят лунок и не поймали за сутки ни одного налима.

– Ну-ка, иди сюда, почувствуй рыбину, – зовёт меня Михаил Александрович.

Он, видимо, считает, что первого налима извлечь на лёд должен я, московский гость. Я снова слушаю его, подхожу к «сработавшей» лунке, выбираю ожившую туго пульсирующую снасть. С полминуты проходит, и вот он, первый наш трофей, с килограмм, примерно, весом, по-змеиному извивается на снежном насте.

Вообще-то налим никогда не относился к завидной добыче для северных рыбаков. Многие здесь считали и считают его сорной рыбой (хотя мясо его по вкусу мало чем уступает треске). Нередко и мы с отцом оставляли его на съедение чайкам да воронам, вырезая лишь лакомую печень. Да и красавцем налима не назовёшь. Но сейчас на сахарно искрящемся насте в лучах предвечернего солнца эта пятнистая зеленовато-коричневая рыба кажется мне настоящим произведением природы.

– Ну вот, с почином, – Михаил Александрович просовывает в налимяню пасть припасённую заранее ветку, прижимает к ней тянущуюся в рыбе чрево леску и начинает сильно вертеть вздрагивающую всем телом рыбину, пока та не отлетает в сторону.

Это его личное изобретение, к которому он шёл многие годы. Дело в том, что налим, как правило, заглатывает наживку очень глубоко. Доставать крючок из его нутра – всегда морока. Обычно приходится резать его глотку ножом, что на морозе особенно неудобно.

И вот такой простой, хоть и жестокий по отношению к рыбине способ избавляет от этих хлопот: снасть, разворотив крючком налимяню внутренности, освобождается от него.

– Да и так мучились, и этак, а придумали-таки, – довольно улыбается в усы Михаил Александрович, кидая в объёмистый пакет добычу.

\* \* \*

Невысокая избушка живописно тонет в розоватых сугробах, из которых поднимаются шероховато-золотистые колонны сосен. Они здесь высоки по заполярным меркам – метров на семь-десять поднимают к солнцу свои прореженные ветрами кроны. Я, нагнувшись, заглядываю в чёрное выстывшее нутро нашего будущего жилища. После света дня оно выглядит особенно мрачно. Промозглой стужей веет от нар, заваленных старыми ватниками, заменяющих матрацы. По углам на потолке в луче фонарика блестит заиндевелый лёд. Первую секунду невольно думается, что это наименее подходящее для ночлега место во всём лесу. Впрочем, это чувство знакомо мне. Я знаю и то, что каких-нибудь час-полтора понадобится железной печке, притулившейся в земляном углу, чтобы вдохнуть тепло и душу в эти неровные древесные стены, сделать их желанным приютом для нас.

На наше счастье, предыдущие постояльцы избушки заготовили немало дров. В «сенях» лежит внушительная поленница и ещё несколько высохших сосновых стволов валяется рядом с входом. Значит, сегодня у нас будет пара-тройка часов отдыха перед сном. Вернее, перед вечерним обходом лунок. Промысел не терпит простое, считает мой старший товарищ. Налим в тёмное время клюёт даже активней, чем днём, поэтому надо хотя бы дважды за ночь проверить донки: поснимать попавшихся налимов, наживить новую мойву вместо съеденной.

Первый обход намечен ближе к полуночи, второй – под утро, часа на четыре.

Честно говоря, меня не очень радует такая перспектива, но, как говорится, назвался груздем... Никто не тянул меня в этот поход, поэтому я молчаливо принимаю те правила, которые установлены Михаи-

лом Александровичем. Меня греет мысль, что завтра за целый день найдётся-таки час-другой, чтобы попробовать в деле мои новые дорогие балансиры. Может быть, даже найду время подобраться по льду поближе к истоку Колы. И там, глядишь, покусится на мои яркие рыбки-обманки красавица-кумжа...

Пока мой товарищ «раскочегаривает» печку, я возле избушки смотрю, как медленно розовеет небо над снежной равниной озера, как всё плотнее укутывает сиреневый сумрак причудливые шапки прибрежных сосен. Как на волнистые вершины дальних сопок наплывают сизые волны облаков.

В морозной оцепенелой тишине отчётливо слышен малейший скрип под моими лыжами. Вдруг издали доносится глухой лязгающий гул. Железная дорога проложена вдоль берега Колозера километрах в трёх отсюда.

Что-то уютное и одновременно тревожное слышится в торопливом и таком неожиданном здесь, среди первозданной природы, перестуке стальных колёс.

Может быть, этот уже угасающий звук напоминает мне о скоротечности моего пребывания здесь, среди сосен, льда и снега, да и в целом на Земле – тоже...

\* \* \*

– Теперь уже редко так вот, как мы с тобой сейчас, на рыбалку ходят, – с затаённой грустью говорит Михаил Александрович.

Гудит раскалённая печка, добираясь волнами драгоценного тепла до зябких ещё нар. Сочится, едва разбавляя мрак, свеча на дощатом столе. В её поддрагивающем свете особенно притягательно выглядит нехитрая наша снедь: хлеб, колбаса, сало, солёные огурцы, чеснок. Честно говоря, от усталости я сначала не хотел есть, даже отказался от идеи варить знаменитую налимью уху. Но несколько стопок обжигающей водки вернули аппетит и интерес к жизни. Как я и ожидал, избушка, спустя всего пару часов после нашего вселения, кажется единственным островком уюта среди морозно-настороженного ночного леса.

– Если кто и рыбачит зимой, то рядом с дорогой, возле машины, – на лице моего собеседника мелькают красноватые блики бушующего в печке огня. – Или богатые на буранах гоняют. Заберутся за полчаса в глушь, куда нам на лыжах полдня идти, пару часов порыбачат и – опять в свои коттеджи греться, водку пить. Обленился народ. Лет тридцать назад легче мурманчане на подъём были. По городу зимой идёшь, почти всегда мужиков с рюкзаками, ледорубами увидишь. Сейчас – редкий случай. Многие из товарищей моих прежних, кто болеет, а кто и совсем уже отходился. Как уехал твой отец с Севера – напарника мне не хватает. Трудно на рыбалке одному, без напарника...

Отец, перед тем как уезжать из Мурманска, долго доказывал мне, какая на Севере тяжёлая жизнь и как хорошо будет жить он в умеренном климате средней полосы. Он и сейчас ни за что не признаётся, что жалеет о том своём решении. Но когда, подвыпив, расслабится, отойдёт от огородных хлопот, почти всегда сворачивает разговор на воспоминания о Севере.

Вернее, не о Севере вообще, а именно о своих лесных походах. Да, это была целая эпоха для Кольского края, не отмеченная ни в одном краеведческом учебнике. Я был ребёнком тогда, но всё же успел почувствовать и запомнить её.

Съехавшиеся со всего Советского Союза мужики, в основном вчерашние крестьяне, открывали для себя просторы диковинного для них Заполярья. Срисовывали друг у друга карты местности, узнавали всё новые богатые рыбой озёра, реки, ручьи. Забирались в глушь, где до них бывали разве что кочующие с оленьими стадами саамы. Бывало, что часами в дождь и мороз ждали у глухих дорог, когда проедет хоть какая-то машина: почтовая, военная, грузовая, чтобы вернуться в город. С детства мне памятен рассказ отца, о том, как однажды почему-то не пришёл рейсовый автобус, и он с друзьями выбирался из тундровой глуши в прицепе бог весть откуда взявшегося там трактора.

Помню и рассказы о том, как после многих часов пути по снежной целине, местами – до пояса глубиной, падали рыбаки в сугробы в изнеможении. И казалось им, что сил нет уже не только на обратный путь, но и на то, чтобы забраться в избушку. Однако проходило полчаса, вставали они и шли сверлить лунки, пилить дрова, раскапывать от снега лесное жилище... И ведь не сказать, что ради больших уловов преодолевали мужики все лишения. Да и далеко не всегда возвращались они с богатой добычей – северная рыба капризна. У каждого водоёма свои «внутренние часы». Пока не приспособишься к тому или иному ручью, озеру, не выразишь, в какое время года и суток бывает здесь хороший клёв, можешь целыми днями сидеть на берегу без единой поклёвки.

Рыба тогда, в относительно благополучные советские времена, когда на Севере почти любой мог позволить себе покупать её в магазине несколько раз в неделю, думается мне, была лишь предложением. Главное, что влекло в тайгу и тундру таких вот энтузиастов, было подспудное желание ощутить себя мужчинами. Вдали от жён, от городских «начальничков всех видов и сортов» они проверяли себя в дружбе-борьбе с суровой заполярной природой. И возвращались в повседневную городскую суету, очистив душу и немного приподняв себя в собственных глазах.

Мало кому из моих ровесников знакомы подобные чувства. Они уже в гораздо большей степени городские жители, чем их отцы. Среди знакомых я считаю «бывалым» лесным человеком, но выбираюсь в серьёзные походы всё реже. И куда реже, чем я ребёнком, выбираются со мной мои дети. Будет ли и дальше продолжаться наше отдаление от природы, и до какой степени? Не получится ли, что, потеряв окончательно в городах связь с собственной землёй, окажемся мы лишними на ней?

– Ты давай, в следующий раз отца с собой на Север вытаскивай, – слышу я сквозь свои размышления глуховатый голос Михаила Александровича. – Годы у нас уже такие, что ещё пару-тройку лет – и дальше магазина за хлебом не уйдёшь никуда. Надо нам хотя бы раз ещё вместе на рыбалку выбраться, тряхнуть стариной. Так, чтоб суток на трое, без спешки.

– Хорошо, – говорю, – один раз – вытащу.

\* \* \*

В темноте, высвечивая дорогу фонариками, возвращаемся с ночного обхода донок. В рюкзаках у нас уже около двух десятков налимов. Некрупных, как считает мой товарищ. Самый увесистый тянет килограмма на полтора. От острова, возле которого мы ловим (там место проверенное, рыбное), до избушки примерно два километра по ломкой проторенной днём лыжне. Накопившаяся за день усталость даёт о себе знать. Лыжи всё неохотней скользят по насту, не слушаясь натруженных, словно ватных ног.

Нет-нет да проскользнёт малодушная мысль: «И зачем это всё надо? Копил бы, как все «нормальные люди», деньги на отпускной курорт...» Однако я знаю, что усталость пройдёт, забудется, а останется другое, неизмеримо более важное, что не получишь ни за какие деньги на курортах и в санаториях.

Наст под лыжами оседает, не выдержав моей тяжести. Не удержавшись на ногах, падаю в снег и лежу так несколько минут один на один с сиреневой глубиной неба, с отстранённым сиянием зыбко-голубых звёзд. И на какое-то мгновение чувствую себя такой же звездой, посылающей в ледяной сумрак позывные своей одинокой души.

\* \* \*

– Вот это да, мороз жмёт, столбик в градуснике совсем исчез, – улыбается Михаил Александрович. – За сорок ночью было. А ты знай себе дрыхнешь.

Да, как пришли с озера, не допив горячего, крепкого до вязкости чаю, я, что называется, «отрубился» на нарах, едва успев натянуть на себя какой-то старый ватник.

Правда, среди ночи сквозь сон дошли до сознания слова моего товарища, что печка совсем остыла. Я даже сделал было поползновение, чтобы встать и заново растопить её. Но, остановленный властным «Лежи», снова провалился в цепкую темноту сна.

А Михаил Александрович, значит, всю ночь поднимался к печке, подбрасывал дрова, поддерживая тепло. А меня ни разу не обременил этой работой. В его отношении ко мне порой проскальзывает затаённая тоска несбывшегося отцовства.

– Ничего, будешь там в своей Москве рассказывать, как в настоящие заполярные морозы в тайге ночевал, – говорит он, разливая по железным кружкам кипяток из закопчённого котелка.

Это вот «в своей» невольно цепляется за мой слух. Могут ли я назвать своим город, в котором живу уже полтора десятка лет? Да, в чём-то он стал ближе и понятней мне. Появились в нём места, отзывающиеся щемящей теплотой воспоминаний. Но до сих пор трудно мне представить, что в этом неумном мегаполисе, где близкие люди порой месяцами, а то и годами не могут найти время приехать друг к другу в гости, в таком вот городе проживу я до конца своей жизни.

– Ну, работы у нас тобой сегодня полно, – отрывает меня от размышлений Михаил Александрович. – Ночью не пошли второй раз налимов снимать, теперь лунки, наверно, так промёрзли, что придётся рядом с ними новые просверливать или топором снасти вырубать. А ещё дров заготовить надо вместо тех, что сожгли...



Этот неписанный от века закон – по мере возможности возместить то, что взято в лесном жилище, – соблюдается рыбаками и сегодня. Не всеми, конечно. Но нередко путнику, набредшему на избушку на Севере, можно не только обогреться припасёнными теми, кто был здесь до него дровами, но и утолить голод, если свои запасы иссякли. У рыбаков «старой закалки» заведено оставлять перед возвращением в город в подвешенных к потолку пакетах остатки незамысловатой провизии: сухари, крупы, вермишель. Эта заочная забота незнакомых или малознакомых людей друг о друге – явный признак того, что утверждение «все люди – братья» – это не просто красивая патетическая фраза, а – правда.

\* \* \*

Ветер гонит колючую позёмку по снежным барханам. Уворачиваясь от неё, мы перебираемся от лунки к лунке. К счастью, большинство из них замёрзло не сильно. Аккуратно вырубая лёд по краям, высвобождаем снасти, извлекаем из чернеющего глазка воды извивающихся, маслянисто блестящих налимов. Они ползают по искристо-снежному насту, оставляя чёрные следы слизи. Некоторые с трудом пролазят в сужившуюся прореху во льду. Их уже много поймано, килограммов двадцать – общий вес. Но промысел – есть промысел. Мы наживляем мойву на опустевшие крючки, сверлим новые лунки вместо «холостых», тех, где за ночь не попалось ни одной рыбы.

«За шестьдесят человеку перевалило, а жизненных сил – иному молодому позавидовать», – с невольным уважением думаю я, глядя, как неумоимо хлопочет вокруг лунок Михаил Александрович.

В голове я держу мысль о том, чтобы испробовать мои балансиры, почувствовать себя рыбаком, а не промысловиком, но всё время что-то мешает исполниться этому моему желанию. То надо сходиться за забытым на берегу мешком с наживкой, то время заново обходить вереницу лунок, то донка запуталась. «Ничего, – утешаю я себя, – вот вечером... или, в конце концов, завтра утром...» Лишь однажды я испытываю рыбацкий азарт, когда, опуская только что наживлённую снасть, вдруг чувствую удар по леске. Делаю подсечку и через минуту, преодолевая тугие рывки, вытягиваю довольно увесистого налима. Неожиданно он срывается с крючка и чуть было не ускользает обратно в лунку. Падаю на снег, прижимая вёрткую рыбку ватными варежками ко льду, и чувствую сквозь дублёнку, как бьётся в груди встрепенувшееся сердце.

Солнце над нами то ослепительно-золотое, зовущее жить, то, серебристо-расплывчатое, проглядывающее сквозь обжигающий тюль позёмки. Долго всматриваюсь в белеющую над озером гору. Пытаюсь понять, что же такое знакомо-счастливое сквозит в её пустынном сиянии. И вдруг вспоминаю, что именно эту гору не раз видел я из окна поезда, когда возвращался в Мурманск. И видимо, где-то в моём подсознании навсегда стала она приметой приближающейся родины.

В другом конце Колозера, у самой линии горизонта, в безветренные ясные минуты можно различить две крохотные палочки с ватными дымками над ней. Ещё вчера ночью обратил я внимание на слабое желтоватое марево над тем местом. И тогда же догадался – там, в мгlistой дали, тот самый Оленегорск, где я был меньше недели назад. Глядя на палочки заводских труб, я в очередной раз удивляюсь тому, как, найдя подходящий момент, вдруг в одной точке переплетаются разные линии жизни, чтобы потом, возможно, снова разойтись навсегда.

Оленегорск. Ещё неделю назад это название вызывало в моей памяти разве что большую пустынную площадь с громоздкой башней посередине. Да ещё, пожалуй, приземистое здание вокзала, перед которым в сплетении рябиновых ветвей, глядя куда-то мимо проезжающих поездов, замерло серебристо-серое оленьё семейство.

На привокзальной площади Оленегорска останавливался автобус, когда с родителями, а позднее и один я ездил в Апатиты, к бабушке. Ребёнком, оказавшись на площади, я озирался по сторонам и всё пытался понять: где же он, город с таким притягательным названием?

Город, как я узнал значительно позднее, из-за каких-то проектных расчётов строили в нескольких километрах от станции. Но тогда мне казалось, что он притаился где-то совсем рядом. И стоит лишь повнимательнее взглянуть в волнистую линию горизонта и – увидишь его скрытую от рассеянного взгляда тайную жизнь.

Вот это неутолённое чувство неоткрытого, невидимого города подспудно жило во мне все эти годы. Поэтому я, повидавший уже немало городов, ждал встречи с Оленегорском, как чего-то особенного. И хотя фотографии в Интернете пытались убедить меня, что как раз ждать сильно особенного не стоит, я давно уже приучил себя до конца не доверять Интернету.

И вроде бы и вправду мало чем выделяется, как убедился я, этот промышленный городок от других, подобных ему, чьи лучшие времена пришлось на шестидесятые-восьмидесятые годы прошлого века. В стройных линиях его центральных зданий, в горделивой стеле на центральной площади, в шеренгах домов ещё угадывался тот молодой созидательный пафос, который пытались вложить в Оленегорск его строители.

Однако сейчас в стенах постаревших зданий читался знакомый мне по другим северным городам вопрос: что дальше? Залежи железной руды, давшие жизнь городу, близки к исчерпанию, да и молодых жителей, готовых связать своё будущее с Оленегорском, всё меньше.

Так, может быть, зря я приезжал в этот город, и было бы лучше, если бы он по-прежнему оставался для меня притягательным городом-невидимкой?

Возможно, так бы оно и было, если бы не встреченные мной там люди. Сейчас, глядя из морозной пустыни озера на зыбкие городские дымки, я вспоминаю открытые, доброжелательные лица библиотекарей, которые, отказывая себе в иных вещах, в век Интернета привозят из поездок целые сумки новых книг.

Вспоминаю и столь же добрые, скромные лица учителей, приведших на поэтическую встречу со мной своих школьников – в основном девочек того волнующего возраста, когда они, сами того ещё не осознавая, становятся девушками. И ведь удалось учителям убедить их больше часа выходного дня провести не перед монитором ноутбука или экраном телевизора, а перед читающим стихи неизвестным им поэтом. (Вот и ответ на мой вопрос, который я задавал себе на улицах ночного Мурманска: остались ещё, остались в стране добросовестные, неравнодушные учителя, несмотря на четверть века погрома всего лучшего в стране!)

И конечно, останется в моей памяти и душе оленегорский поэт с самым поэтическим для нас, русских, именем. Стихи Александра нравились мне уже давно, и давно хотелось мне поближе познакомиться с их автором. И теперь я вспоминаю тихого, даже беспомощного, на первый взгляд, человека со слабым зрением, неуверенно идущего по обледенелым оленегорским улицам. Человека, который, как сам признался мне, тяготится большим числом необязательных знакомств, неизбежных в маленьком городке, но который при этом никогда не смог бы жить в мегаполисе, где на улице нередко приходится перекрикивать рёв машин, чтобы быть услышанным собеседником.

Но вместе с тем вспоминаю я сильного человека, который в возрасте далеко за тридцать не побоялся бросить опостылевшую провинциальную журналистику, чтобы жить литературным трудом. Человека, который положил немало сил, чтобы помочь своей жене победить рак... И когда страшная болезнь отступила, супруги решились дать жизнь своему первому ребёнку.

Вспоминая всё это, я понимаю, что там, вдали, снова невидимый, укрытый морозной пеленой, находится уже не чужой мне Оленегорск, что на карте Кольской земли появилась для меня ещё одна тёплая точка притяжения.

\* \* \*

– Я, может быть, только через два, а то и три года смогу на родине порыбачить, – с досадой говорю я, не глядя на Михаила Александровича.

Передо мной груды заледенелых, мёртво изогнувшихся налимов. Широким, хорошо заточённым ножом я отрезаю им головы. Это чтобы не тащить «лишнее» до станции. Невдалеке, ожидая пожилых, уже тяжело перелетают с места на место два ворона.

До последнего слушался я своего старшего товарища, смиренно нёс бремя промысла, а тут не выдержал – взбунтовался. Хотя бы в самом конце надеялся выкроить час-полтора на «настоящую рыбалку», испытать, наконец, свои яркие балансиры. Поймать, может быть, заветную кумжу.

И вот, оказывается, что этого часа мне Михаил Александрович давать не хочет.

– Заранее надо выйти, – упрямо твердит он, – чтобы за час до поезда на станции быть. А лучше – за полтора. Кто его знает, что в пути будет: лыжу кто ломает или лыжню занесёт. Смотри, метель вот-вот начнётся. Да и поезд раньше прийти может – дождись потом целые сутки.

Набухшие снегом неоглядные облака тяжело наползают на озеро. Из них и вправду то и дело начинает сыпаться снег. Поддвывает ветер, обещая худшее.

– Ничего, – решаюсь я. – В крайнем случае, если на поезд опоздаю, вернусь в избушку. Дров мы много наготовили, еда есть ещё. Не пропаду.

Бросаю в мешок последнего обезглавленного налима, достаю из рюкзака свёрток с зимними удочками.

– Ну, как знаешь, – Михаил Александрович крепит свою поклажу с рыбой на волокушу, встаёт на лыжи.

Минут через десять он превращается в чёрную чёрточку на белёсой равнине озера. Позёмка то и дело стирает эту чёрточку, но она, уменьшаясь, упрямо проступает вновь.

Я пытаюсь сосредоточиться на рыбалке. Чуть склонившись над лункой, делаю размеренные взмахи удочкой. Леска то и дело обрастает ледяным бисером, ветер замечает лунки снежной пылью.

Оторвав глаза от чёрного кружка воды, смотрю на место, где совсем недавно прошёл мой товарищ. Там теперь такой же точно снежно-девственный наст, как и везде. Я вдруг остро ощущаю своё одиночество перед безжизненной пустыней озера. И ещё понимаю, что никакой кумжи не поймаю, что та искромётная поэтическая радость рыбалки, которую я ждал до последнего, уже невозможна после двух суток трудного, даже изнуряющего промысла.

Я всё же упрямо продолжаю блеснить, перехожу от лунки к лунке. Однако эти глазки воды всё сильнее затягивает льдом, залепляет снегом. Воли дальше спорить со стихией, в который раз выгребать лёд со снегом, у меня уже не хватает.

И часа не прошло после того, как, сердито махнув рукой, отправился в путь мой товарищ. И вот уже я перекидываю через плечо верёвку от волокуши и отправляюсь вслед.

\* \* \*

Как всё-таки переменчива заполярная погода... словно характер поэта. Только что пробирался я сквозь метель, отворачивая лицо от её шершавых колючих пальцев, а тяжёлая, словно камнями гружённая, волокуша тянула назад, упиралась, не желая зарываться носом в сугробы. Только что, казалось мне, конца не будет этой снежной мути, спеленавшей весь мир, и я жалел уже, что не отправился с Михаилом Александровичем, когда метель только начиналась. И не раз закрадывался в меня холодок сомнения: не сбился ли с пути, не промахнулся ли мимо станции...

И вот ослепительно и невинно светит солнце, словно и не оставляло без своих лучей и поддержки подопечных на земле. Сверкают на заснеженных шпалах рельсы, прислушиваясь в тишине, не раздаётся ли весёлый перестук колёс близкого поезда. Казалось бы, одно название, что посёлок – покосившиеся сараи да большей частью нежилые дома. И всё же тут почему-то теплей и как-то уютней после двух суток среди сугробов и льда. Даже от свежих собачьих следов на снегу веет чем-то радостным. Ещё издалека у жёлтого здания пулозерской станции замечаю фигуру Михаила Александровича. Он пристроился на ступеньках. Сидя на рюкзаке, смотрит в мою сторону.

– Ну что, твои балансиры московские не подвели? – то ли хитро, то ли добродушно улыбаясь, спрашивает он, словно и не было недавней ссоры на озере.

Скидываю верёвку от волокуши и чувствую, как наваливается усталость, которую в пути гнал от себя. Присаживаюсь на рюкзак и несколько минут сижу, бессмысленно и счастливо глядя на искрящийся снег вокруг. Михаил Александрович сам связывает мои лыжи, возится с рюкзаком, что-то поправляет.

Медленно наплывает из-за солнечной сопки наш куцый, но такой родной теперь поезд.

– Намёрзлись? – участливо спрашивает проводница. – Ну, зато, я гляжу, с рыбой...

Мы пробираемся в тёплый, пахнувший углём и чаем вагон. Из окна я ещё раз напоследок окидываю взглядом безвестную станцию. Невдалеке видна такая притягательная отсюда, из вагона, девственно снежная полоска Пулозера.

Я вдруг вспоминаю, что здесь прошло детство поэта, в годы Великой Отечественной войны погибшего в воздушном бою. А ведь именно его именем названа первая присуждённая мне литературная премия. Я удивляюсь и не удивляюсь тому, что неожиданно-негаданно родные для него места стали близкими и для меня...

Говорят, перед смертью в сознании человека вспыхивают наиболее яркие картины из его жизни. Я думаю о том, что наверняка в залитой кровью кабине несущегося к земле самолёта совсем молодой поэт Саша Подстаницкий вспомнил эти белоснежные сейчас сопки и ослепительную равнину Колозера. И ещё я думаю о том, что, наверно, в одно из предсмертных мгновений доведётся их увидеть и мне.